

Начало неведомого века

Автор:

Константин Паустовский

Начало неведомого века

Константин Георгиевич Паустовский

Повесть о жизни #3

...Нет ничего человечнее слез от любви, нет ничего, что бы так сильно и сладко разрывало сердце. И нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, ее прошлому, настоящему и будущему. К ее языку, быту, к ее лесам и полям, к ее селениям и людям, будь они гении или деревенские сапожники. Автобиографическая «Повесть о жизни» – это размышления Константина Паустовского, вошедшие в шесть книг. Вниманию читателя предлагается третья книга «Начало неведомого века».

Константин Паустовский

Повесть о жизни. Начало неведомого века

Водоворот

За несколько месяцев Россия выговорила все, о чем молчала целые столетия.

С февраля до осени семнадцатого года по всей стране днем и ночью шел сплошной беспорядочный митинг.

Людские сборища шумели на городских площадях, у памятников и пропахших хлором вокзалов, на заводах, в селах, на базарах, в каждом дворе и на каждой лестнице мало-мальски населенного дома.

Клятвы, призывы, обличения, ораторский пыл – все это внезапно тонуло в неистовых криках «долой!» или в восторженном хриплом «ура!». Эти крики перекатывались, как булыжный гром, по всем перекресткам.

Особенно вдохновенно и яростно митинговала Москва.

Кого-то качали, кого-то стаскивали с памятника Пушкину за хлястик шинели, с кем-то целовались, обдирая щетиной щеки, кому-то жали заскорузлые руки, с какого-то интеллигента сбивали шляпу. Но тут же, через минуту, его уже триумфально несли на руках и он, придерживая скачущее пенсне, посылал проклятия неведомо каким губителям русской свободы. То тут, то там кому-то отчаянно хлопали, и грохот жестких ладоней напоминал стук крупного града по мостовой.

Кстати, весна в 1917 году была холодная, и град часто покрывал молодую траву на московских бульварах трескучей крупой.

На митингах слова никто не просил. Его брали сами. Охотно позволяли говорить солдатам-фронтовикам и застрявшему в России французскому офицеру – члену французской социалистической партии, а впоследствии коммунисту Жаку Садулю[1 - Жак Садуль (1881-1956) – деятель французского рабочего движения, интернационалист. В 1917 г., назначенный атташе при французской военной миссии в Петрограде, отказался служить французскому реакционному правительству, в 1919 г. вступил в Красную Армию, участник движения Сопротивления.]. Его голубая шинель все время моталась между двумя самыми митинговыми местами Москвы – памятниками Пушкину и Скобелеву.

Когда солдат называл себя фронтовиком, ему сначала учиняли шумный допрос. «С какого фронта? – кричали из толпы. – Какой дивизии? Какого полка? Кто твой полковой командир?»

Если солдат, растерявшись, не успевал ответить, то под крики: «Он с Ходынского фронта! Долой!» – его сволакивали с трибуны и заталкивали поглубже в толпу. Там он смущенно сморкался, вытирал нос полкой шинели и с

недоумением качал головой.

Чтобы сразу взять толпу в руки и заставить слушать себя, нужен был сильный прием.

Однажды на пьедестал памятника Пушкину влез бородатый солдат в стоявшей коробом шинели. Толпа зашумела: «Какой дивизии? Какой части?»

Солдат сердито прищурился.

– Чего орете! – закричал он. – Ежели хорошенько поискать, то здесь у каждого третьего найдется в кармане карточка Вильгельма! Из нас добрая половина – шпионы! Факт! По какому праву русскому солдату рот затыкаете?!

Это был сильный прием. Толпа замолчала.

– Ты вшей покорми в окопах, – закричал солдат, – тогда меня и допрашивай! Царские недобитки! Сволочи! Красные банты понацепляли, так думаете, что мы вас насквозь не видим? Мало что буржуям нас продаете, как курей, так еще и ощипать нас хотите до последнего перышка. Из-за вас и на фронте, и в гнилом тылу – одна измена! Товарищи, которые фронтовики! До вас обращаюсь! Покорнейше прошу – оцепите всех этих граждан, сделайте обыск и проверьте у них документы. И ежели что у кого найдется, так мы его сами хлопнем, без приказа комиссара правительства. Ура!

Солдат сорвал папаху и поднял ее над головой. Кое-кто закричал «ура!», но жидко, вразброд. Тотчас в толпе началось зловещее движение, – солдаты, взявшись за руки, начали ее оцеплять.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы кто-то не догадался позвонить в Совет депутатов. Оттуда приехали на грузовике вооруженные рабочие и восстановили порядок.

Постепенно митинги в разных местах Москвы приобрели свой особый характер. У памятника Скобелеву выступали преимущественно представители разных партий – от кадетов и народных социалистов до большевиков. Здесь речи были яростные, но серьезные. Трещать языком у Скобелева не полагалось. При первой

же такой попытке оратору дружно кричали: «На Таганку! К черту!»

На Таганской площади действительно можно было говорить о чем попало, – хотя бы о том, что Керенский[2 - Керенский Александр Федорович (1881–1970) – русский политический деятель, член и руководитель Временного правительства. После Октябрьской революции – организатор антисоветского мятежа. Белоэмигрант.] – выкрест родом из местечка Шполы или что в Донском монастыре нашли у монахов тысячу золотых десятирублевков, засунутых в сердцевину моченых яблок.

Однажды весной (наступил уже май, но никто, кажется, не заметил тогда ни ледохода по Москве-реке, ни цветущей черемухи) я стоял в толпе у памятника Скобелеву. Шла схватка между эсерами и большевиками.

Неожиданно на пьедестал памятника влез Рачинский. Я даже вздрогнул. До тех пор я Рачинского в Москве не встречал.

Рачинский снял велюровую широкополую шляпу, высоко поднял трость с голой серебряной наядой, взывая к тишине, и закричал с пафосом:

– Черные тучи пытаются затмить лучезарное солнце нашей свободы! Позвольте мне, бедному и скромному поэту, живущему в мансарде, поднять свой негодующий голос...

– На свалку! – ясным и решительным, но несколько грубым голосом сказал кто-то в толпе.

– На Таганку! – охотно подхватила толпа. – Эй, кто там поближе, стащите его с памятника.

– Это узурпация! – закричал отчаянным голосом Рачинский. – Голос бессмысленной черни!

Но ему все равно не дали говорить. Он скорбно возвел глаза к небу, взмахнул руками и, соблюдая достоинство, соскочил с пьедестала и скрылся в толпе.

Митинги у Пушкина хотя и были разнообразны по темам, но держались, как принято сейчас говорить, «на высоком уровне». Чаще всего у Пушкина выступали студенты.

Я работал тогда в газете и по обязанности своей должен был бывать на митингах. Они отмечали мельчайшие колебания в настроении Москвы. Там же, на митингах мы, газетчики, узнавали много новостей.

Газета, где я работал, называлась странно: «Ведомости московского градоначальства». Никакого градоначальства в то время уже не было, как не было и никаких «ведомостей». Возможно, что газета называлась так потому, что редакция ее заняла бывший дом градоначальника на Тверском бульваре.

Это была небольшая газета. Редактировал ее весьма легкомысленный и развязный поэт-фельетонист Дон Аминадо. Настоящей его фамилии никто не знал.

Газета печатала ошеломляющие телеграммы со всех концов страны, хронику московской жизни и изредка два-три приказа комиссара Временного правительства доктора Кишкина. Никому даже не приходило в голову выполнять эти приказы. Поэтому фигура Кишкина имела чисто декоративный характер. Это был суховатый человек с седеющей бородкой и глазами жертвы, обреченной на заклятие. Ходил он в элегантном сюртуке с шелковыми отворотами и носил в петлице красную кокарду.

С каждым днем речи ораторов на митингах делались определеннее, и вскоре из сумятицы лозунгов и требований начали вырисовываться два лагеря, на какие уже разделялась страна: лагерь большевиков и рабочих и другой лагерь – на первый взгляд прекраснодушных, но бескостных и растерянных людей, лагерь интеллигенции – сторонников Временного правительства. Конечно, не всей интеллигенции, но очень значительной ее части.

Государство разваливалось, как ком мокрой глины. Провинция, уездная Россия не подчинялась Петрограду, жила неведомо чем и бурлила неведомо как. Армия на фронте стремительно таяла.

Керенский метался по стране, стараясь своим экстатическим красноречием сколотить Россию. Силу идей, убежденность он пытался заменить напыщенной фразой, оперной позой, величественным, но неуместным жестом. В таком виде он выступал перед тысячами солдат на фронте, на брустверах окопов, не замечая, что он просто смешон.

Однажды он сорвал погоны с больного пожилого солдата, отказавшегося идти в окопы, повелительным жестом цезаря указал солдату на восток и закричал:

- Трус! Ступай в тыл! Не мы, а твоя собственная совесть убьет тебя!

Он кричал это трагическим голосом, со слезами на глазах, а солдаты отворачивались и ругались.

Я много раз видел этого человека с лимонного цвета припухшим лицом, багровыми веками и ежиком редких сероватых волос. Он ходил стремительно, заставляя адъютантов бежать за собой. Поворачивался он так же стремительно и неожиданно, пугая спутников. Больная рука на черной перевязи была засунута за борт помятого френча. Френч лежал складками на животе. Коричневые лакированные краги на длинных тонких ногах поскрипывали и поблескивали.

Лающим сорванным голосом он швырял в толпу короткие фразы и задыхался. Он любил гремящие слова и верил в них. Ему казалось, что они летят, как набат, над растревоженной страной и поднимают людей на жертвы и подвиги.

Прокричав гремящие слова, Керенский падал в кресло, содрогаясь от слез. Адъютанты отпаивали его. От него тянуло валерьянкой, как от мнительной дамы.

Этот запах, напоминавший затхлый воздух зажитых и старомодных квартир, разоблачал его. Так, по крайней мере, мне казалось тогда. Я был почему-то уверен, что лекарственные запахи несовместимы с высоким званием трибуна.

Вскоре я понял, что Керенский был просто больным человеком с большой долей «достоевщины», актером, поверившим в свое высокое мессианское назначение и несущимся очертя голову в пропасть.

Он был, по-видимому, честен в своих взвинченных убеждениях, в своей приверженности к России, – этот истерик, вынесенный, как легкая стружка, на гребень первой революционной волны.

России везло на юродивых еще с удельных времен. Что-то от этого юродства было и в Керенском.

Мне привелось видеть почти всех тогдашних вождей Февральской революции. Плохо еще разбираясь в запутанной обстановке, я все же был поражен разношерстностью этих людей.

С Керенским, например, совершенно не вязался министр иностранных дел, барственный историк профессор Милюков[3 - Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – русский политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов. Белоэмигрант.].

Его седые синеватые волосы представлялись стерильными и ледяными. И весь он был ледяной и стерильный, вплоть до каждого взвешенного и корректного слова. В то бурное время он казался выходцем с другой – добропорядочной и академической – планеты.

Внезапно появилось множество крикунов. Они росли как грибы. Важнее всего считалось перекричать противника.

Дешевая демагогия расцветала на унавоженных рынках. Крикунов даже привозили из-за границы.

Однажды из Парижа приехал французский министр военного снабжения Альбер Тома.

Он появился у нас, чтобы уговорить «доблестный русский народ» остаться верным союзникам и не выходить из войны.

Этот коротконогий рыжебородый человек в изящном сюртуке показал в своих речах непревзойденный пример крика и выразительного жеста. Как-то он говорил с балкона теперешнего дома Моссовета (тогда этот дом был резиденцией комиссара Временного правительства).

Тома говорил по-французски. Вряд ли в толпе, слушавшей его, был хоть десяток людей, знавших этот язык. Толпа состояла главным образом из солдат и жителей московских окраин. Но в речи Тома все было понятно и без слов.

Тома, прыгая на согнутых ногах по балкону, наглядно показал, что произойдет, по его мнению, с Россией, если она выйдет из войны. Он подкрутил усы на манер Вильгельма, сделал хищные глаза, высоко подпрыгнул и стремительно схватил в воздухе за горло воображаемую Россию. Он вцепился в нее мертвой хваткой, зашипел, швырнул ее под ноги и начал остервенело топтать лакированными ботинками. При этом он испускал воинственные крики и рычал, как бешеный тигр.

Эта страшная пляска Вильгельма над поверженным телом России длилась несколько минут. Толпа, пораженная цирковым зрелищем, затаила дыхание.

Потом по толпе прошел глухой гул. Тома вытер надушенным платком красное лицо и привычным жестом – несколько набекрень – надел блестящий цилиндр. Он прислушивался к толпе и улыбался. В ее гуле ему чудилось одобрение.

Но гул, разрастаясь, становился все более грозным, пока наконец не послышались крики: «Позор!», «Клоун!», «Долой!» Раздался пронзительный свист.

Кто-то услужливо взял Тома за локоть и увел с балкона. Тогда взамен Тома на балкон вышел бельгийский социалист Вандервельде[4 - Вандервельде Эмиль (1866–1938) – бельгийский социалист, реформист.] – человек с нестерпимо постным лицом, в застегнутом на все пуговицы пасторском сюртуке.

Он начал говорить очень тихо, без интонаций, жуя слова пересохшими тонкими губами. Казалось, он хотел усыпить толпу. Она действительно начала быстро редеть. Вскоре около балкона осталась только небольшая кучка людей, слушавших Вандервельде, очевидно, только из вежливости.

Вандервельде говорил о том же, что и Тома. Он уныло взывал к верности «священному военному союзу».

Со стороны Страстного монастыря донеслась музыка. Она все усиливалась, гремела:

Вышли мы все из народа,

Дети семьи трудовой.

«Братский союз и свобода» —

Вот наш девиз боевой![5 - «Вышли мы все из народа...» - Из песни «Смело, товарищи, в ногу!..» Л. П. Радина (1860-1901).]

По Тверской приближались колонны рабочих с Пресни. Кумачовые полотнища плыли мимо Вандервельде: «Мир хижинам, война дворцам», «Вся власть Советам!», «Долой войну!»

Вандервельде еще несколько минут пошевелил губами, потом сложил листки со своими записями и медленно ушел, опираясь вместо трости на туго свернутый зонтик в шелковом чехле.

Из рабочих колонн его не заметили. Колонны пели:

Все, чем их держатся троны, —

Дело рабочей руки...

Сами набьем мы патроны,

К ружьям привинтим штыки!

Сейчас, спустя много лет, возвращаясь памятью к первым месяцам революции, начинаешь отчетливо понимать, что то время было наполнено сознанием непрочности происходившего и ожиданием неумолимых перемен.

Старый строй был разрушен. Но в глубине души почти никто не думал, что новый февральский строй – это завершение революции. Он был, конечно, только перевальным этапом в истории России.

Возможно, что это понимали и тогдашние мимолетные руководители страны. Это ослабляло их сопротивление тому новому, враждебному для них, но неизбежному, что впервые прозвучало в словах Ленина с броневика у Финляндского вокзала: «Заря всемирной социалистической революции уже занялась!»

Все без труда достигнутое и наспех сколоченное после февраля было, оказывается, самым ранним началом новых времен.

Это стало ясным для всех значительно позже. Тогда же это только смутно чувствовалось. Слишком было напряженное время, слишком много феерических событий совершалось каждый день. Не хватало ни душевных сил, ни времени, чтобы как следует разобраться в молниеносном полете истории. Грохот обвалов старого времени сливался в сплошной гул.

Идиллическое благодушие первых дней революции меркло. Трещали и рушились миры.

В большинстве своем интеллигенция растерялась – великая, гуманная русская интеллигенция, детище Пушкина и Герцена, Толстого и Чехова. С непреложностью выяснилось, что она умела создавать высокие духовные ценности, но была за редкими исключениями беспомощна в деле создания государственности.

Русская культура выросла главным образом в борьбе за свободу с самодержавным строем. В этой борьбе оттачивалась мысль, воспитывались высокие чувства и гражданское мужество.

Старый строй рухнул. Вместо того чтобы сеять в народе хрестоматийное «разумное, доброе, вечное», надо было немедленно своими руками создать новые формы жизни, надо было умело управлять вконец запущенной и необъятной страной.

Смутное, почти нереальное состояние страны не могло длиться долго. Жизнь народа требовала ясности цели, точного приложения труда. Оказалось, что утверждение справедливости и свободы требует черной работы и даже жестокости. Оказалось, что эти вещи не рождаются сами под звон кимвалов и восхищенные клики сограждан.

Таковы были первые уроки революции. Такова была первая встреча русской интеллигенции лицом к лицу с ее идеалами.

Это была горькая чаша. Она не миновала никого. Сильные духом выпили ее и остались с народом, слабые – или выродились, или погибли.

Так входила страна в грозную и длительную эпоху создания новой гражданственности. Но, повторяю, в то время все эти мысли не были еще до конца понятны всем. Они существовали в зачатке, почти как ощущение. Множество людей плыло по воле событий с одним только желанием прожить подольше, чтобы увидеть, как обернется история и к какому берегу прибьет наконец Россию.

* * *

Что касается меня, то я встретил Февральскую революцию с мальчишеским восторгом, хотя мне было уже двадцать пять лет. Мне наивно верилось, что эта революция может внезапно переменить всех людей к лучшему и объединить непримиримых врагов. Мне казалось, что человеку не так уж трудно ради бесспорных ценностей революции отказаться от пережитков прошлого, от всяческой скверны и прежде всего от жажды обогащения, национальной вражды и угнетения себе подобных.

Я был всегда уверен, что в каждом человеке заложены зачатки доброй воли и все дело лишь в том, чтобы вызвать их из глубины его существа.

Но скоро я убедился, что эти прекраснодушные настроения – наполовину дым и тлен. Каждый день швырял мне в лицо жестокие доказательства того, что человек не так просто меняется и революция пока что не уничтожила ни ненависти, ни взаимного недоверия.

Я гнал от себя эту неприятную мысль, но она не уходила и омрачала мою радость. Все чаще вспыхивал гнев. Особенно сильно я начал ненавидеть приглашенных и либеральных интеллигентов, стремительно и явно поглупевших, по моему мнению, от недоброжелательства к своему, недавно еще умилявшему их, народу. Но это еще не значило, что я целиком принимал в то время революцию Октябрьскую. Многое я принимал, иное отвергал, особенно все, что казалось мне пренебрежением к прошлой культуре.

Принять Октябрь целиком мне мешало мое идеалистическое воспитание. Поэтому первые два-три года Октябрьской революции я прожил не как ее участник, а как глубоко заинтересованный свидетель.

Только в 1920 году я понял, что нет другого пути, чем тот, который избран моим народом. Тогда сразу же отлегло от сердца. Началось время веры и больших надежд. Дальнейшая жизнь пошла уже не случайно, а более осмысленно и более или менее твердо по пути служения народу в той области, которая представлялась мне наиболее действенной и соответствующей моим силам, – в литературе.

Неизвестно, какой путь лучше – от сомнения к признанию или путь, лишенный всяческих сомнений.

Во всяком случае, глубокая преданность свободе, справедливости и гуманности, равно как и честность перед самим собой, всегда казались мне неизменными качествами человека нашей революционной эпохи.

Холодную весну 1917 года сменило душное лето.

Жаркий ветер гонял по мостовой вороха измятых и рваных газет. Почти каждый день в Москве появлялись новые газеты, иногда самых необыкновенных направлений, вплоть до теософских и анархических с лозунгом: «Анархия – мать порядка». Эти шумные и большей частью безграмотные листки жили всего один-два дня.

Ветер трепал на стенах десятки то обличительных, то призывающих к благоразумию воззваний. Воздух был пропитан керосиновым запахом типографской краски и ржаного хлеба. Этот последний деревенский запах принесла с собой армия. Город заполнялся солдатами, валившими в тыл, несмотря на крикливые приказы Керенского.

Москва превратилась в буйное военное становище. Солдаты плотно оседали вокруг вокзалов. Привокзальные площади курились дымом, как развалины завоеванных городов. Но это был не пороховой дым, а дым махорки. Ветер вертел серые смерчи из подсолнечной шелухи.

Красный флаг, привязанный к воинственно поднятой бронзовой сабле Скобелева, давно выгорел от солнца, но победоносно шумел на ветру.

Над городом висела пелена пыли. В ней и день и ночь горели заспанные желтые фонари. Их просто забывали гасить.

Для экономии электричества часы по приказу правительства сильно передвинули назад. Солнце заходило в четыре часа дня.

Весь город был на ногах. Квартиры пустовали. Ночи напролет люди хрипли на митингах, слонялись от бессонницы по улицам, сидели и спорили в скверах или просто на панели. Незнакомые, встречаясь на митингах, в одно мгновение становились друзьями или врагами. Прошло уже четыре месяца с начала революции, но возбуждение не затихало. Тревога все так же томила сердца.

Я решил поехать на осень к матери. Я вымотался в Москве. За все это время я ничего не успел прочесть, кроме множества наспех отпечатанных на газетной бумаге политических брошюр, отражавших непримиримую схватку партий. Я мечтал, как о чем-то несбыточном, о возможности перечитать «Войну и мир» Толстого. Мне казалось тогда, что этот роман написан два века назад.

Мама жила с моей сестрой Галей в Полесье, недалеко от города Чернобыля. Там у моей киевской тетушки Веры была небольшая усадьба Копань, и мама согласилась жить в Копани и вести скудное тамошнее хозяйство. Мама любила возиться с землей. Одно время она даже мечтала сделать меня агрономом.

Я ехал через Киев. Он, так же как и Москва, ключом кипел на митингах. Только вместо «долой!» и «ура!» здесь кричали «геть!» и «слава!», а вместо марсельезы пели «Заповит» Шевченко и «Ще не вмерла Украина».

До Чернобыля я плыл по Днепру и Припяти на маленьком облупленном пароходе «Володя». Это был очень старательный пароход. Изредка капитан – седоусый украинец с красным бантом на груди – подымался на мостик и говорил, посмеиваясь, в машинное отделение:

– А ну, «Володя»! Жми! Старайся для революции!

И «Володя» старался. Он начинал изо всей силы пыхтеть паром, торопливо бить плицами по воде и заметно прибавлял ход. Но это продолжалось недолго. Вскоре плицы снова лениво плескались за бортом, добродушные пассажиры укладывались отдохнуть на палубе, с берега сладко тянуло болотным багульником и треск кузнечиков сливался в усыпительный перезвон.

Я тоже отсыпался на палубе. Москва казалась отсюда запутанным сном.

Из Чернобыля надо было ехать сорок верст на лошадях через сосновые леса и сыпучие пески. Лошади брели шагом. Поскрипывали колеса, от старой сбруи пахло дегтем. Возница – маленький «дядько» в худой коричневой свитке – все спрашивал:

– Там в Москве, безусловно перед вами извиняюсь, ще не слышно, когда произойдет вселенское разрешение?

– Какое разрешение?

– Чтобы хлеборобам самосильно пановать над землей. А панов и подпанков гнать дрючками под зад к бисовой матери. Говорят, Керенский тому препятствует, шило ему в бок!

Копань оказалась маленькой усадьбой, вернее, заброшенным хутором. На поляне в лесу стояла большая старая хата под гнилой соломенной крышей и какие-то ветхие сарайчики. Изгороди не было. Лес обступал хату со всех сторон. Гул сосен показался мне, после московской сумятицы, особенно величавым и успокоительным.

Мама, увидев меня, сдержала слезы. Только губы у нее задрожали и осекся голос. Но тут же она обняла меня, прижалась седой головой к моему плечу и долго стояла неподвижно и молча, глотая слезы. Она никогда еще так не обнимала меня, как старшего, как защитника, как единственную опору в ее неудачливой жизни.

А Галя крепко стиснула меня за локоть, и из-под выпуклых стекол ее очков капали слезы. Она их не вытирала.

Я неумело успокаивал маму. Я часто вспоминал ее и думал о ней, но только теперь понял, что жизнь не оставила ей ничего, кроме единственной горькой и спрятанной глубоко на сердце любви, к двум оставшимся в живых родным существам – ко мне и к Гале. Это были последние крохи любви, которыми она жила. Ради этой любви она безропотно переносила унижения со стороны богатых родственников, тяжелую работу и полную заброшенность в этих безлюдных лесах.

В сумерки мама виноватым голосом заметила, что сейчас совершенно невозможно достать керосина – его нет даже в Чернобыле, – и потому они с Галей сидят по вечерам при лучине.

До тех пор я никогда не видел лучины. Ее яркий багровый огонь мне даже понравился.

Мама, перебирая сухими, огрубевшими от земли пальцами бахрому на платке, неуверенно сказала:

– Как бы хорошо было, Костик, если бы ты остался здесь с нами совсем. Так опасно теперь разлучаться. Мы бы прожили. Правда, на картошке и сале, но зато все вместе. Как ты думаешь, Костик?

Она не решалась посмотреть мне в лицо и сидела, опустив глаза.

Я промолчал.

Мама начала вставлять в железный зажим новую лучину. Руки у нее дрожали.

– Мы говорили с Галей, – сказала она, не оборачиваясь, – что если ты не бросил свою мысль стать писателем, то тебе все равно где работать. А здесь тихо. И никто тебе не будет мешать.

Молчать больше было нельзя.

– Я подумаю, – ответил я.

Мама подошла и пригладила мне волосы.

– Ну вот и хорошо, – сказала она и грустно улыбнулась. – Вот и хорошо. Правда, подумай, Костик.

* * *

Сколько бы ни пришлось жить на свете, никогда не перестанешь удивляться России. У меня это удивление началось в детстве и не прошло до сих пор. Нет в мире страны более неожиданной и противоречивой.

В Копани я убедился в этом на второй же день после своего приезда.

Я рассказывал маме и Гале о революционной Москве и в это время увидел в окно, как из леса плелся к усадьбе сгорбленный дряхлый монашек в пыльной рясе и потертой островерхой скуфейке[б - Скуфейка, скуфья – бархатная круглая шапочка, обычно черного цвета, повседневный головной убор православного духовенства.]. Он вошел, покрестился на пустой угол, поклонился нам в пояс и попросил маму обменять для братии сушеные грибы на соль. Монашек появился будто из допетровских времен.

Соль у мамы была. Она отсыпала монашку четверть мешка, но грибы не взяла, – в этом лесном краю и своих грибов некуда было девать.

Мама напоила монашка чаем. Он сидел за столом, не снимая скуфейки, пил чай вприкуску с постным сахаром, и мелкие слезы изредка стекали по его желтым, как церковный воск, щекам. Он тщательно вытирал их рукавом рясы и говорил:

– Сподобил господь еще раз перед кончиной попить чайку с сахарком. Истинно пожалел меня господь, снизошел к моему прозябанию.

Мама вышла за чем-то в соседнюю комнату. Я вышел вслед за ней и спросил, откуда здесь этот монах. Мама рассказала, что в десяти верстах от Копани, в самом глухом углу леса на берегу реки Уж, с давних времен стоит маленький скит. Сейчас, после революции, все мало-мальски здоровые монахи разбежались, и в скиту осталось только несколько немощных старцев.

– Ты бы сходил в этот скит, – посоветовала мне мама. – Поговорил бы с ними. Для тебя это будет, может быть, интересно.

Через несколько дней я пошел в скит. Лес был темен, завален буреломом. Потом не на поляне, а прямо в лесу, среди деревьев, я наткнулся на высокий тын из почернелых бревен. Такие тыны я видел на картинах Рериха и Нестерова, изображавших старые обители.

Я пошел вдоль тына к воротам. Они были заколочены. Я долго стучал в калитку, пока мне не открыл тот самый монашек, что приходил за солью.

Я вошел в заросший травой дворик, увидел рубленную из сосны косую маленькую церковь и сразу как бы выпал из своего столетия.

Из церкви слышалось старческое пение. Изредка тренькал на звоннице колокол.

– Уж и не знаем, – сказал мне монашек, – звонить или нет. Опасаемся. Как бы обиды не было от этого для предержащих ныне властей. Вот и звоним чуть-чуть. Ворона сидит на звоннице – так и та не слетает. Пожалуйте в храм.

Мы вошли в церковь. Горело всего три-четыре свечи. Старики в черных схимнических рясах с нашитыми на них белыми крестами и черепами не шевельнулись. Коричневой позолотой поблескивали во мраке узкие лица святителей. Горьковато пахло горелыми можжевельновыми ягодами, – ими монахи курили вместо ладана.

Все как-то смешалось в сознании – древний скит, унылые песнопения, гул сосен за стенами церкви, черепа на рясах схимников, Москва, крест над могилой Лели, окопные завшивевшие солдаты, синагога в Кобрине, огонь маяка в Таганроге, митинги, революция, марсельеза, Керенский, «Мир хижинам – война дворцам». Все это казалось пестрым сном, – это почти неправдоподобное течение моей жизни. Ожидание перемен стало в этой жизни уже привычкой.

Как все это осмыслить? Как понять? Как найти в этом хаосе ту ясность, без которой ничего нельзя сделать подлинного и ценного? И как объяснить самому себе то состояние, что делает человека одновременно и приверженцем революции, последователем великих передовых идей, и собеседником Гейне, и современником Древней Руси, поющей здесь, в скиту, дребезжащими голосами о

том, что человек заслужил райское блаженство «и ныне и присно и во веки веков». И почему, когда я слушаю эти слова, мне вспоминаются стихи: «Нижег печаль моя жемчуги скатные, в кованый сыплет ларец». Что-то общее мне чудится в этих стихах и песнопениях монахов.

Я ушел из скита и долго еще не мог привести в порядок свои мысли.

С тех пор я каждый раз, когда ходил на реку Уж ловить рыбу, заходил в скит. Монахи угощали меня старым медом с холодной водой.

Газет не было, за ними надо было ездить на хромой лошади в Чернобыль.

Я успел съездить туда один только раз и привез в Копань известие о корниловском мятеже и о том, что немцы перешли в наступление и заняли Ригу.

Но второй раз мама не отпустила меня в Чернобыль. В лесах появилась какая-то банда – не то беглые пленные австрийцы, не то выпущенные из тюрьмы арестанты. Банду эту никто не видел, но все встревожились.

Время шло. О банде уже долго ничего не было слышно, и все успокоились. Поздней осенью я наконец уехал в Киев, а оттуда в Москву. Мама взяла с меня слово, что я вернусь следующей весной.

Когда я уезжал, Полесье стояло в сухой желтой листве и мягких туманах.

Через неделю после моего отъезда неизвестная банда налетела на скит, перерыла кельи в поисках серебра, расстреляла монахов и подожгла церковь. Но церковь была сложена из окаменелых за века бревен и потому только обуглилась, но не сгорела.

Синие факелы

В Москве я поселился в двухэтажном доме у Никитских ворот. Дом этот выходил на три улицы: Тверской бульвар, Большую Никитскую и Леонтьевский переулок. С четвертой стороны он был вплотную прижат к глухой стене – брандмауэру

шестиэтажного дома.

Напротив, на стрелке Тверского бульвара (где сейчас памятник Тимирязеву), стояло в то время скучное и длинное здание. Там помещалась аптека, а в подвалах был склад медикаментов. Окна моей комнаты выходили на эту аптеку.

Приходится так подробно говорить о расположении дома потому, что оно оказалось причиной некоторых не совсем обычных событий, описанных ниже.

Однажды, в седую от морозного дыма осеннюю ночь, я проснулся в своей комнате на втором этаже от странного ощущения, будто кто-то мгновенно выдавил из нее весь воздух. От этого ощущения я на несколько секунд оглох.

Я вскочил. Пол был засыпан осколками оконных стекол. Они блестели в свете высокого и туманного месяца, влачившегося над уснувшей Москвой.

Глубокая тишина стояла вокруг.

Потом раздался короткий гром. Нарастающий резкий вой пронесся на уровне выбитых окон, и тотчас с длинным грохотом обрушился угол дома у Никитских ворот. В комнате у хозяина квартиры заплакали дети.

В первую минуту нельзя было, конечно, догадаться, что это бьет прямой наводкой по Никитским воротам орудие, поставленное у памятника Пушкину. Выяснилось это позже.

После второго выстрела снова вернулась тишина. Месяц все так же внимательно смотрел с туманных ночных небес на разбитые стекла на полу.

Через несколько минут у Никитских ворот длинно забил пулемет.

Так начался в Москве октябрьский бой, или, как тогда говорили, «октябрьский переворот». Он длился несколько дней.

В ответ на пулеметный огонь разгорелась винтовочная пальба. Пуля чмокнула в стену и прострелила портрет Чехова. Потом я нашел этот портрет под обвалившейся штукатуркой. Пуля попала Чехову в грудь и прорвала белый

пикейный жилет.

Перестрелка трещала, как горящий валежник. Пули густо цокали по железным крышам. Мой квартирный хозяин, пожилой вдовец архитектор, крикнул мне, чтобы я шел к нему в задние комнаты. Они выходили окнами во двор.

Там на полу сидели две маленькие девочки и старая няня. Старуха закрыла девочек с головой теплым платком.

- Здесь безопасно, - сказал хозяин. - Пули вряд ли пробьют внутренние стены.

Старшая девочка спросила из-под платка:

- Папа, это немцы напали на Москву?

- Никаких немцев нет.

- А кто же стреляет?

- Замолчи! - прикрикнул отец.

Я вернулся в свою комнату и, прижавшись к простенку, заглянул наискось в окно. Месяц затянуло черными тучами. Громады домов с погашенными огнями едва угадывались во мраке. Беспреданно вспыхивали огни выстрелов и на разные голоса пели пули. То это был тонкий свист, то визг, то странный клекочущий звук, будто пули кувыркались в воздухе.

Я пытался увидеть людей, но вспышки выстрелов не давали для этого достаточно света. Судя по огню, красногвардейцы, наступавшие от Страстной площади, дошли уже до половины бульвара, где стоял деревянный вычурный павильон летнего ресторана. Юнкера залегли на площади у Никитских ворот.

Внезапно под окнами с тихим гулом загорелся, качаясь на ветру, высокий синий язык огня. Он был похож на факел. В его мертвенном свете стали наконец видны люди, перебегавшие от дерева к дереву.

Вскоре второй синий факел вспыхнул на противоположной стороне бульвара.

Это пули разбили горелки газовых фонарей, и горящий газ начал вырываться прямо из труб.

При его мигающем свете огонь тотчас усилился.

Я вернулся к хозяину.

- Ну как? - спросил он.

- Надо уводить отсюда детей.

- Куда? - спросил хозяин. - Тверской бульвар под огнем.

- На Большую Никитскую. Через магазины.

- По Большой Никитской и по кино «Унион» красногвардейцы бьют из пулеметов с Малой Никитской. В кино - штаб юнкеров.

- Тогда остается Леонтьевский.

- Пойдем узнаем.

Мы спустились по черной лестнице в квадратный двор. Здесь пули пели высоко, и только кое-где обваливались отбитые карнизы. В глубине двора около маленькой дворницкой стояло несколько человек.

Оказалось, что в Леонтьевском переулке огонь был еще сильнее, чем на Тверском бульваре. С четвертой стороны нашего двора вздымался брандмауэр соседнего дома. В нем не было ни одного окна.

Архитектор посмотрел на брандмауэр и выругался.

- Западня, - сказал он. - Наш дом обложен со всех сторон. Выйти некуда. Мы попали в мертвую полосу.

Уже светало. Люди около дворницкой оказались пекарями из булочной Бартельса, помещавшейся в этом же доме.

Белый от муки бородатый пекарь – бывший портартурский солдат – предложил перевести всех жильцов в дворницкую – самое безопасное место. Жильцов было очень немного, – весь первый этаж дома занимали магазины и склады.

Так началось многодневное сидение в дворницкой.

Один из пекарей, молодой парень, решил перебежать к красногвардейцам. Как только он выскочил, пригнувшись, из подворотни на тротуар, его срезала пулеметная очередь от Никитских ворот.

Сидя в дворницкой, мы перебирали в памяти предыдущие дни и удивлялись своей недогадливости. Бой возник для нас как будто внезапно. А между тем мы знали о восстании в Петрограде, штурме Зимнего дворца, выстреле «Авроры», о том, что в Москве было объявлено военное положение, что на Ходынке накапливались хорошо вооруженные отряды красногвардейцев и солдат и что Алексеевское и Александровское военные училища были приведены в боевую готовность.

Команду над нашим домом принял пекарь-портартурец. Из крана в дворницкой жидкой струйкой текла вода. Пекарь приказал собрать по квартирам все ведра и кувшины и сделать запас воды. Она каждую минуту могла иссякнуть.

Потом мы собрали весь хлеб и продукты. Их оказалось немного.

Мы не знали, что делается вокруг, и были уверены, что бой идет по всей Москве. Мы только понимали, что очутились в осаде и живем как в крепости, охваченной кольцом огня. Но крепость эта была ненадежной. Уже к концу первого дня пули начали залетать во двор.

Всю первую ночь мы просидели на ступеньках дворницкой, стараясь по силе огня догадаться, кто берет верх.

Внезапно среди ночи огонь стих. Все насторожились. Эта тишина казалась опаснее, чем ураганный огонь. Но тянулась она недолго. Вскоре мы услышали в

кромешном мраке отдаленные протяжные крики: «Передать командиру! Юнкера накапливаются на крышах!»

Крик становился все торопливее, тревожнее: «Передать командиру! Юнкера накапливаются на крышах!» Сразу сорвался огонь, и свинцовый град снова захлестал по водосточным трубам и вывескам.

К вечеру второго дня загорелся дом «на стрелке», где была аптека. Он горел разноцветным пламенем – то желтым, то зеленым и синим, очевидно, от медикаментов. Глухие взрывы ухали в его подвалах. От этих взрывов дом быстро обрушился. Пламя упало, но едкий разноцветный дым клубился над пожарищем еще несколько дней.

В нашем доме начала коробиться железная крыша и задымились оконные рамы. Но, к счастью, дом не загорелся.

Мы задыхались, плакали от дыма, обвязывали лица мокрыми платками, но это почти не помогало.

На третью ночь перестрелка снова стихла, и стало слышно, как кто-то кричал на бульваре неуверенным надсаженным голосом:

– Викжель (так тогда назывался «Всероссийский союз железнодорожников») настоятельно предлагает сторонам прекратить огонь и выслать парламентариев! Для переговоров о перемирии! Не стрелять! Посредник – представитель Викжеля – будет ждать десять минут. Не стрелять!

Наступила неправдоподобная тишина – такая, что было слышно, как скрежещут от ветра изорванные пулями вывески.

В тусклом зареве догоравшей аптеки я смотрел на часы. Все молча следили за мной. Секундная стрелка бежала по кругу, как будто быстрее, чем всегда. Пять минут! Семь минут! Неужели юнкера не сдадутся? Десять минут!

Прогремел одинокий выстрел, за ним – второй, и сразу, как шквал, нарастая, загрохотала перестрелка.

Потом со стороны Арбатской площади раздалось несколько пушечных ударов, и в соседнем доме за высоким брандмауэром что-то гулко обрушилось. Над крышей дома, медленно завиваясь, поднялся столб огня.

Как выяснилось, юнкера подожгли соседний дом снарядами, чтобы не дать красногвардейцам захватить его. Дом этот, говоря языком военных реляций, господствовал над местностью.

Этот второй пожар был гораздо опаснее, чем пожар аптеки. К нам на двор уже летели, лязгая, искореженные огнем железные листы и горящие головни. Мы заливали их своими жалкими запасами воды.

Старый пекарь уверял, что опасность пройдет, как только в соседнем доме прогорит верхний этаж. Конечно, если не обрушится брандмауэр. Мы соглашались с ним, хотя хорошо сознавали, что наше положение довольно отчаянное.

В эту же ночь во двор, освещенный пожаром с такой силой, что была видна каждая соринка на камнях, через выбитое окно первого этажа каким-то чудом пролез с Тверского бульвара человек в подпоясанном солдатским кушаком сером пиджаке, с маузером на боку, в очках и с русой бородкой. Он был похож на Добролюбова.

– Спокойно! – крикнул он. – Жильцы – ко мне! Мы договорились с юнкерами. Сейчас и мы и они прекратим огонь, чтобы вывести из этого дома детей и женщин. Только детей и женщин! Мужчин выпускать не будут. Ваше положение аховое, – дом с часу на час загорится. Поэтому мужчины, по-моему, могут тоже рискнуть. Но, конечно, только после того, как выйдут дети и женщины. Выходить через Тверской бульвар на Бронную. Идти поодиночке. Соберитесь в подворотне.

Человек этот так же быстро исчез, как и появился.

Все собрались в подворотне. Огонь затих, и первой засемила через бульвар наша старая нянька с двумя девочками. За ней перебежали остальные женщины.

Пока женщины перебежали бульвар, красногвардейцы начали перекрикиваться с юнкерами.

– Эй вы, темляки-сопляки! – кричали красногвардейцы. – Хватит дурить! Бросай оружие!

– У нас присяга! – кричали в ответ юнкера.

– Кому присягали? Керенскому? Он, сукин кот, удрал к немцам.

– России мы присягали, а не Керенскому!

– А мы и есть Россия! – кричали красногвардейцы. – Соображать надо!

Как только прошли женщины, из подворотни выскочил старый пекарь. За ним должен был бежать я. Но сразу же со стороны юнкеров ударила пулеметная очередь и отколола угол подворотни. Пекарь бросился назад. Снова загремели выстрелы и полетели на тротуар битый кирпич, стекло и щепки.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Жак Садуль (1881–1956) – деятель французского рабочего движения, интернационалист. В 1917 г., назначенный атташе при французской военной миссии в Петрограде, отказался служить французскому реакционному

правительству, в 1919 г. вступил в Красную Армию, участник движения Сопrotивления.

2

Керенский Александр Федорович (1881–1970) – русский политический деятель, член и руководитель Временного правительства. После Октябрьской революции – организатор антисоветского мятежа. Белоэмигрант.

3

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – русский политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов. Белоэмигрант.

4

Вандервельде Эмиль (1866–1938) – бельгийский социалист, реформист.

5

«Вышли мы все из народа...» – Из песни «Смело, товарищи, в ногу!..» Л. П. Радина (1860–1901).

6

Скуфейка, скуфья – бархатная круглая шапочка, обычно черного цвета, повседневный головной убор православного духовенства.

Купить: <https://tellnovel.com/konstantin-paustovskiy/nachalo-nevedomogo-veka>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)